

СОФИЯ ГРОТЕВОЛЬ

MALUM DISCORDIAE



EX PULCHERRIMA CAUSA
BELLUM ORITUR.

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

София Гротевольт

Malum Discordiae

<https://litres.ru/74255668>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это история о поиске себя в лабиринте чужих сердец. Она живет между двумя мирами: ледяным равнодушием Франца и всепоглощающей, но разрушительной страстью к Спутнику. Она бежит от одной пустоты к другой, пока не встречает Хару — человека, чье имя означает «рассвет». Но её жизнь — не просто череда случайностей. Это узор, который плетет сама судьба, одержимая мстью. Вместе с человеком-временем, который полюбил её как дочь, она пытается вырваться из предопределенного финала. Это роман о том, как трудно дышать, когда в груди айсберг, и как страшно снова поверить в тепло. О том, что иногда самое сложное — не выбрать между любовью и предательством, а принять себя и свой выбор, даже если он ведет к одиночеству. «Malum Discordiae» — яблоко раздора, которое однажды разделило богов. Но сможет ли обычная девушка не надкусить его, а просто отбросить в сторону? Вторая часть трилогии о Спутнике, где яблоко раздора падает в руки той, кто уже однажды потеряла свой ориентир среди звёзд.

Содержание

1	5
2	23
3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

София Гротеволь

Malum Discordiae

MALUM DISCORDIAE

Гротеволь София

1

Его звали Хару. Милый парень с японскими корнями. Лучший друг Франца. Хару считал его своим братом... Мы сидели с ним на мокрой от дождя лестнице, он смотрел на меня как-то по-особенному нежно. Он был другом Франца, но, клянусь, он был другим. Совсем другим. Почему-то я была уверена в том, что Хару меня не обидит и бояться мне его не стоит. Как же можно бояться человека, которого очень любишь? Люблю? Да. Боже, да я же вам не рассказывала предысторию. Про милого Хару поговорим позже. Было еще много-много всего до этой встречи на мокрой от дождя лестнице.

Помните Спутника? Мы разошлись. Да и вряд ли он будет упомянут здесь еще когда-нибудь. Аппиева дорога с ним была пройдена, и мы снова вернулись в наш Рим – расставание. Никакой обиды. Только благодарность за прожитое вместе. Теперь Спутник живет в Турции со своей мамой и сестрой, ну что ж... Дело семейное. Хотя кому я вру? Спутник – есть Спутник.

С Францом мы продолжили жить вместе. На самом деле, все было довольно-таки спокойно, единственное, он вечно пропадал ночами. То работа, то со своим другом встретиться хочет. А я что? Мне в общем-то плевать. Я все равно его никогда не любила. Я поняла, что Франц был всего лишь сред-

ством побега. Я мечтала уйти, мечтала оборвать все связи с родителями, мечтала получить тепло от какого-то человека, а Франц просто попался под руку. Да и честно говоря, он тоже, кажется, меня не любил. Я тоже была всего лишь средством для достижения чего-то. Не знаю, правда, чего. Вы спросите, почему мне так казалось? Он не смотрел на меня так, будто боялся потерять. Да и вряд ли он работал и встречался с другом ночью. Скорее всего совокуплялся со шлюхами. Ох уж эти парни с татуировками! Чего с них взять.

Человек-Время иногда появлялся. Он старался не лезть в мои отношения с Францем, говорил, что это уже дело Судьбы, ему просто нельзя мне ничего рассказывать. Он стал относиться ко мне иначе. Хотя и приходил редко, зато надолго. Рассказывал, как поживают другие члены общества, или, например, начал грустить из-за высокой детской смертности в последнее время. Сентиментальный Человек-Время. Можно ли это было представить?

– Я переживаю за тебя, необычная. Это даже странно.

– И чего в этом странного?

– Понимаешь, вот такая штука... Ни во мне, ни в Судьбе, ни в других, даже более мелких участников никчемной человеческой жизни, не заложено ничего. Мы бесчувственны, как железные плиты. Это просто невозможно – испытывать сочувствие к *human sapiens*, может и в других реальностях такое есть, но точно не в нашей.

– Но ты же переживаешь, значит и в этой реальности такое

возможно, разве нет?

– Оно то вроде бы и так, но я будто бы исключение. Я стал каким-то неправильным, а это может плохо закончиться.

– И как же это закончится?

Он помолчал пол минуты, а потом безучастно сказал:

– Не твое дело, необычная. Голову не забивай.

Мирри, Виолетта, Кики и я часто собирались вместе в том самом баре. Все тот же джаз, те же знакомые люди, та же родная атмосфера, которая преследовала это пространство. Тот же бармен, который уже знал наше любимое пиво и не спрашивал, что мы будем пить сегодня. Иногда подходили наши знакомые, присаживались рядом, а потом, после окончания каких-нибудь дебатов о свободных отношениях, уходили к другому столику. Мы не ссорились, ни в коем случае, это пространство объединяло людей, а дискуссии его дополняли. Этот бар не менялся с годами: те же столы, стулья, за которыми сидели сотни, а может уже и тысячи людей. От этого было даже как-то спокойно. Кто-то тоже проживал свою историю, и она никак не соприкасалась с твоей собственной. Мирри все так же была солнцем в этом темном мире, ее светлые глаза и улыбка все также освещали мою душу, и я чувствовала, что ей можно рассказать все на свете. Вилу была такой же невероятно умной, а диалоги с ней помогали понять мне смысл моих тех или иных действий. А Кики... Это была просто Кики. Ничего нового и необычного. Стабильность – признак мастерства. Недавно Кики наконец начала встре-

чаться с парнем на мотоцикле. Хотя бы не так сильно теперь будет загружать мою голову – во всем свои плюсы.

Франц даже не знал, что я посещаю этот бар. Я могла бы конечно рассказать ему об этом, но не думаю, что ему было бы интересно. Мы жили в неплохой квартирке на окраине города. Франц изображал любящего парня, но как бы он не старался, любви в его глазах просто не существовало. Мне вообще казалось, что сердца у него нет. Будто бы он оледенел когда-то и так больше от этого льда не оправился. Как Титаник – врезался в айсберг и утонул. Бесчувственный человек. Интересно, какого это жить, как Франц? Но каждую ночь, когда город за окном погружался в сырой полумрак, а дождь начинал барабанить по карнизу, я брала ключи и шла сюда. В этот бар, где пахло старым деревом, пивом и одиночеством – но одиночеством правильным, таким, которое не требует слов. Здесь я садилась за столик у окна, заказывала Оранж и смотрела, как капли стекают по стеклу, искажая огни встречной улицы, превращая их в расплывчатые медузы. Бармен, молодой молчаливый паренек с кудрями, давно перестал задавать вопросы. Он просто ставил передо мной бокал и кивал. Иногда мне казалось, что мы с ним – два персонажа одной старой книги, которую никто не читает, кроме нас самих. Франц, если бы знал об этом месте достаточно, наверняка бы усмехнулся – снисходительно, как взрослый над ребёнком. Сказал бы, что это "дешёвый сентиментализм" или что "ты просто ищешь повод не ложиться спать". Но он не знал. И в

этом была моя маленькая, тихая победа. Потому что здесь, под тусклым оранжевым светом, я не была его тенью. Здесь я могла быть той, кого он никогда не встретил. Той, кто пишет стихи на салфетках, а потом сжигает их над пепельницей. Той, кто смотрит на дождь и не чувствует холода. Той, у кого сердце – не кусок льда, а старая, тёплая, потрескавшаяся глина, которая ещё хранит следы чьих-то пальцев.

Но однажды, когда я вернулась домой, Франц сидел на кухне и пил холодный кофе. Он не спросил, где я была. Он вообще ничего не сказал. Только посмотрел – тем самым пустым взглядом, в котором не было ни ревности, ни злости, ни даже любопытства. И тогда я поняла: даже если бы я рассказала ему, даже если бы я кричала ему об этом каждое утро в зеркало, он бы не услышал. Потому что Франц уже давно не слушал. Он просто существовал – как радиопередача на давно забытой волне, которую никто не ловит.

Я села напротив, взяла его чашку и допила кофе. Горький, остывший, ничем не похожий на то пиво, что я пила в баре. И подумала: может быть, и я – такой же айсберг, только дрейфующий в другую сторону. Просто мы с ним плывём в одном океане, но видим разные звёзды. И его Тихий океан – это безмолвие. А мой – звук дождя по жестяной крыше и шаги по мокрой ночной улице, которые ведут не домой, а в маленькое убежище, где даже одинокий человек может быть счастлив.

Я оставила его на кухне, пошла в спальню, легла на свою

сторону кровати – ту, что никогда не прогревалась от его тепла – и закрыла глаза. Завтра я снова пойду в этот бар. И, возможно, даже возьму салфетку, чтобы написать на ней что-то важное. И, возможно, в этот раз я её не сожгу. А спрячу в книгу, которую Франц никогда не откроет. Как обещание, данное самой себе – что я ещё не утонула. Просто плыву в своём течении и по своим звёздам.

– Сегодня к нам зайдет мой друг, тот, что со мной на скейте катается, – безэмоционально протянул Франц.

– Без проблем. Приготовить что-то?

– Нет, не стоит. Мы ненадолго. Потом уедем снова кататься.

– Опять на всю ночь?

– Да.

– Мы уже давно вместе спать не ложились.

– Любимая, дай мне с другом отдохнуть, я устал. Займись своими делами. Вот, вторую часть своей книжки пиши. Или почитай своих грустных японцев. Тебе всегда есть чем заняться.

"Любимая" – меня чуть не стошнило. Зачем это лицемерие и притворство? Я на сто процентов уверена, что друг, даже если он живой и дышит со мной одним воздухом, – это всего лишь прикрытие. Как только они покинут эту квартиру, Франц уедет к каким-то круглолицым девчонкам, своей головой напоминающие яйцо, но намалеванных, как дешевые шлюхи, а вот друг – возможно пойдет делать трюки в

скейтпарк, ну либо домой, тут уж я не знаю.

Как на самом деле странно все это. Франц однажды спас меня от Спутника, а теперь ничего от него не осталось. Как я уже сказала – сердца нет. А ведь даже у Спутника оно было. Искажённое, но было. Тогда я ещё верила, что Франц – тот самый берег, о который разбиваются волны. А теперь смотрю на него и вижу лишь оболочку. Как будто тот, кто спас меня, просто вышел из комнаты и забыл вернуться. Оставил вместо себя этот манекен с правильными интонациями, с ровным дыханием, с руками, которые гладят по голове, но не оставляют тепла. И я иногда ловлю себя на мысли: а может быть, Спутник и был прав? Может быть, его искажённое, обожжённое, безумное сердце билось честнее, чем холодная тишина Франца? Ведь Спутник хотя бы ревновал. Хотя бы злился. Хотя бы сжигал всё вокруг, потому что не мог иначе. У него была страсть – нездоровая, опасная, но живая. Как у костра в заброшенном ангаре. А у Франца – только пепел, оставшийся от чужого пожара.

Иногда мне кажется, что я поменяла одну пустоту на другую. Только там пустота гудела, как ветер в ржавых трубах, а здесь она шелковистая, бархатная, почти комфортная. Она не беспокоит, она просто есть. Как белый шум. Как снег, который идёт за окном, но никогда не касается земли – тает на подходе. Я смотрю на Франца, когда он читает книгу или заваривает чай, и думаю: а что бы сделал Спутник на его месте? Устроил бы скандал. Разбил бы чашку. Упал бы на ко-

лени и прошептал что-то безумное про звёзды и вечность. А Франц просто подвигает мне кружку и говорит: "Осторожно, горячий".

И в этом, наверное, главная ирония. Я бежала от той, чужой, испорченной любви, которая душила, к этой, правильной, безупречной, ледяной. Я искала спасения от шторма и пришла к вечной мерзлоте. Но ведь мерзлота тоже убивает, только медленно, почти незаметно. Как айсберг, о который разбился Франц, когда-то, задолго до меня. Может быть, именно поэтому он спас меня тогда: потому что узнал во мне ту же тоску, ту же готовность утонуть. И решил, что вместе тонуть не так одиноко.

Но я не хочу тонуть. Я хочу плыть. Даже если это значит оставить позади и Спутника, и Франца. Даже если придётся стать своим собственным берегом. Потому что у Спутника было сердце, но он не знал, куда с ним идти. У Франца сердца нет, но он умеет создавать иллюзию уюта. А у меня? У меня есть этот бар, дождь за окном, пиво и салфетки, на которых я пишу то, что никто не прочтёт. И, возможно, этого достаточно. По крайней мере сегодня. По крайней мере сейчас, когда за окном опять начинается дождь, а Франц уже лёг спать – ровно, бесшумно, как человек, который давно научился не просыпаться по ночам. И чем дольше я смотрю на него, тем яснее вижу: Франц – не просто бесчувственный. Он искусный фальсификатор. Он подделывает эмоции так же умело, как китайские мастера подделывают старинные вазы – с виду

идеально, но стоит поднести к свету, и трещины выдают себя. Он смеётся в нужные моменты, хмурится, когда надо, даже вздыхает с правильной интонацией. Но за этим стоит абсолютная пустота. Как будто внутри него не просто нет сердца, а есть огромный чёрный зал, где декорации меняются по расписанию, а актёр забыл свои реплики и просто открывает рот под фонограмму.

Однажды я специально заплакала при нём. Настоящими слезами – теми, что разъедают кожу и оставляют солёный привкус во рту. Я рыдала в гостиной, тряслась, задыхалась. А он сидел напротив, сложив руки на коленях, и ждал. Просто ждал, когда я закончу. Не подошёл, не обнял, не спросил, что случилось. Через десять минут, когда я уже вытерла лицо, он спокойно произнёс: "Ты в порядке?" – таким тоном, будто спрашивал, не пересолён ли суп. И это было хуже, чем если бы он ударил. Удар, по крайней мере, оставляет синяк, который потом болит и напоминает о том, что ты жива. А его равнодушие оставляет лишь серую, липкую пустоту, которая впитывается в кожу, как плесень. Я тогда поняла: он не просто не любит меня. Он вообще не способен любить. Для него любовь – это слово из букв, которое нужно произносить в определённых ситуациях, как код доступа к банковскому счёту. Произнёс и спи спокойно.

Франц был бы идеальным роботом, если бы роботы не были полезнее. Робот хотя бы выполняет функции. А Франц занимает место. Он ест мою еду, спит на моей половине кро-

вати, молча сидит в моём пространстве и даже не понимает, что это – моё. Однажды я переставила все книги в шкафу в обратном порядке. Он заметил только через три дня. И сказал: "А, ты решила поменять? Ну, как хочешь". Будто я переложила носки с верхней полки на нижнюю. Я тогда хотела закричать: "Франц, я переместила пространство! Я изменила порядок вещей! Ты что, не видишь?" – но сдержалась. Потому что поняла: он действительно не видит. Его глаза смотрят, но не видят. Его уши слушают, но не слышат. Он – ходячая декорация, которая когда-то, возможно, была человеком, но сейчас остался только фасад. Красивый фасад с правильной штукатуркой и трещинами, которые я однажды попыталась замазать своей любовью. Тщетно.

Самое отвратительное – его снисходительная терпимость. Он никогда не злится. Никогда не повышает голос. Он вообще никак не реагирует на мои провокации. А я провоцировала. О, как я провоцировала! Я приводила домой чужих мужчин – просто друзей, но он не знал. Я разбила его любимую кружку. Я перекрасила волосы. Я уходила на три дня, отключала телефон, не предупреждая. И что? Когда я возвращалась, он поднимал голову от газеты и говорил: "Ты выглядишь уставшей. Закажи что-нибудь поесть". И всё. Ни тени ревности. Ни тени беспокойства. Ни тени того, что я вообще для него значу. Его хладнокровие – это не сила духа. Это лень души. Ему просто неинтересно напрягаться. Ему лень чувствовать, лень переживать, лень даже притворяться

убедительно.

И знаете, что хуже всего? Я иногда ловлю себя на том, что скучаю по Спутнику. Даже по его бешеному, дикому, разрушительному обожанию. Потому что когда Спутник кричал, я знала – он кричит от боли. Когда Спутник бил посуду – от ярости, когда он целовал – от голода. Всё в нём было настоящим, даже уродство. А Франц – это чистый пластик. Безупречный, гладкий, удобный. Его можно вытереть тряпкой, и он снова будет блеснуть. Но он никогда не нагреется. Никогда не треснет по-настоящему. Он просто прослужит – как дешёвая мебель из Икеи, – до тех пор, пока я не соберусь и не вынесу его на помойку.

Я уже начинаю собираться. Каждый день я прячу по одной вещи в сумку. Книгу, блокнот, старую фотографию. Франц не замечает. Ему вообще плевать, что здесь находится. Иногда мне кажется, что если бы я исчезла, просто растворилась в воздухе, он бы даже не сразу понял. Дня через три. Когда закончится хлеб или молоко. Он бы постоял у холодильника, хмыкнул и пошёл в магазин. Без меня. Без даже маленькой благодарности за то, что я вообще была. Он, может быть, и не вспомнит моего лица. Только силуэт – тот, что привычно маячил на фоне окна.

А ведь он спас меня от Спутника. Он вытащил меня из одного ада и, сам того не понимая, поместил в другой – более тихий, более стерильный, более убийственный. Спутник хотя бы знал, что я существую. Он видел меня, слышал, нена-

видел и любил до дрожи. А Франц смотрит сквозь меня, как сквозь стеклянную дверь. И когда я уйду, я даже не оставлю следа на этом стекле. Потому что для Франца я никогда не была человеком. Я была функцией. Функцией "девушка". Как функция "холодильник" – есть, и ладно.

Но, знаете, я даже благодарна ему. Я завтра снова пойду в бар. И, возможно, напишу на салфетке: "Франц – это не человек. Это ошибка, которую люди называют человеком". И сожгу её. И посмотрю, как пепел улетает в ночь. И улыбнусь. Потому что скоро я перестану быть его функцией. Я стану собой, и этого будет достаточно.

– Знакомься. Это Хару. Мой лучший друг. А это моя девушка, – произнес Франц так же, как обычно просил открыть окно, когда в комнате жарко.

Хару был выше него, примерно моего роста. Его волосы были светлее и чуть более растрепанные. Татуировок не было, он был чистым, как белый лист. А вот глаза, янтарные глаза были искренние. Ни у кого я не видела таких глаз. Хару. Рассвет. Какая ирония. Друг Франца – человека, который никогда не видел восхода, потому что его внутренний мир – вечная полярная ночь. А Хару был полной противоположностью. Он теперь появлялся у нас раз в неделю, по четвергам, с бутылкой дешёвого вина и запахом улицы, который въедался в его свитер. Он не звонил, не предупреждал. Просто стоял на пороге, улыбался своей неловкой улыбкой и говорил: "А у вас найдётся для меня лишний стакан?". И Франц ни-

когда не возражал. Только поднимал бровь, мол, входи, раз пришёл, и возвращался к своей книге. Как будто Хару был всего лишь ещё одним предметом интерьера – креслом, которое само пришло посидеть.

Но я запомнила тот первый раз, когда наши взгляды встретились. Он вошёл, стряхнул капли дождя с плеч, и посмотрел на меня. Открыто, без той стеклянной плёнки, которая вечно стоит в глазах Франца. Его янтарные глаза действительно были искренними. Я даже не знаю, как это объяснить. Будто бы внутри него горел маленький тёплый свет – не ослепляющий, не кричащий, а такой, какой бывает у старой керосиновой лампы в деревенском доме. И он не пытался это скрыть. Свет просто был. И он смотрел на меня этим светом, пока Франц перелистывал страницы, не замечая ничего вокруг.

После того вечера я стала замечать, что жду четвергов. Что причёсываюсь чуть тщательнее, что ставлю на стол не самые худшие тарелки, что слушаю звук лифта на лестнице. Франц, конечно, не замечал. Как не замечал и того, что я иногда ловлю себя на мысли: как же Хару может быть другом этого ледяного манекена? Они ведь такие разные. Как две планеты в разных галактиках. Хару смеётся громко и заразительно, запрокидывая голову, и тогда на его шее вздувается жилка. Хару рассказывает истории – глупые, длинные, сбивчивые – и путается в деталях, но от этого они становятся только живее. Хару однажды починил мне сломанную полку,

потому что просто увидел, что она сломана, и не стал ждать, пока я попрошу. Франц бы прошёл мимо неё месяц и даже не заметил бы.

А глаза Хару... я всё возвращаюсь к ним. В них есть что-то древнее и одновременно детское. Как будто он видел много боли, но решил, что носить её на лице неправильно. И теперь в этих янтарных глубинах плещется что-то вроде прощения. Ко всему. Даже ко мне. Даже к Францу. Иногда он смотрит на своего друга и чуть заметно качает головой, и в этом жесте столько грусти, что становится не по себе. Будто он знает что-то, что скрыто от всех остальных. Будто он помнит Франца до того, как тот превратился в этот ледяной труп с бьющимся пульсом. И я хочу спросить: что с ним случилось? Кто разбил его об айсберг? Но Хару молчит. Только пьёт вино и смотрит на меня этими своими честными глазами, в которых я вижу ответы на вопросы, которые ещё не научилась задавать.

Однажды, когда Франц вышел на кухню, Хару наклонился ко мне и прошептал: "Ты слишком грустная для этой квартиры". И я не знала, что ответить. Потому что он попал в самую точку. В этом застывшем пространстве, где Франц дышит, но не живёт, где даже воздух кажется ватным, Хару был как трещина в стене – и сквозь неё пробивался свет. Свет, которого я так долго была лишена. И я смотрела на его пальцы, сжимающие бокал, и думала: а что, если я коснусь их? Что, если я просто возьму и сделаю шаг? Если перестану быть те-

нюю Франца и стану той, кто смотрит в глаза, полные рассвета?

Но я пока молчу. Я пока жду четверга. Я пока просто смотрю, как Хару улыбается, и чувствую, как в груди оттаивает что-то, что я считала замёрзшим навсегда. Интересно, он знает, что его имя означает "рассвет"? Знает ли он, что каждый его приход – это первые лучи солнца в моей полярной ночи? Или он просто приходит, потому что ему некуда больше идти, а Франц – просто привычка, старая и удобная, как потёртое кресло? Я не знаю. Но когда я смотрю в его глаза, кажется, что ответ не так важен. Важен сам свет. И то, что он смотрит на меня, не сквозь меня, а на меня. Впервые за долгое время я чувствую себя замеченной. По-настоящему, до самого дна, и это пугает. И это – самое живое, что случилось со мной за последние годы.

– Франц в последнее время стал каким-то холодным, почему так? – начала я.

Он отставил бокал и посмотрел на меня дольше обычного. В янтарных глазах мелькнуло что-то, может быть, тень, может быть, свет, но он быстро опустил взгляд, уставившись на свои пальцы, сжимающие ножку бокала.

– Франц всегда был таким, – сказал он спокойно. – Просто раньше ты не замечала. Или не хотела замечать. Бывает такое.

– Нет, – покачала я головой. – Раньше он был другим. Он улыбался. Он... он спас меня. Он тебе говорил? От Спутника.

Он тогда был живым.

Хару вздохнул. Длинный, медленный выдох, как будто он выпускал из лёгких что-то тяжёлое. Он взял бутылку вина и долил себе – не в бокал, а в ту же кружку, которую я ему дала, потому что чистых бокалов не осталось. Это было так по-харувски: без претензии, без церемоний, просто – есть жидкость, есть ёмкость, зачем усложнять.

– Может, он и правда тогда был другим, – сказал он тихо. – А может, ты просто хотела видеть в нём то, что тебе было нужно. Мы все так делаем. Особенно когда больно. Особенно когда спасаешься.

Он поднял глаза, и я снова увидела этот свет – тёплый, ровный, чуть грустный. Он не выдавал Франца. Ни словом, ни жестом. Но в его взгляде была какая-то мольба, которую он не мог озвучить. Будто он хотел сказать: "Не ищи правды. Она тебе не понравится". Или: "Смотри на меня, а не на него". Или может быть: "Я здесь, я вижу тебя, пожалуйста, не ломайся".

– Ты его друг, – сказала я. – Ты должен знать, что с ним происходит. Почему он оледенел? Почему он больше не чувствует? Он что, потерял кого-то? Что-то случилось до меня?

Хару помолчал. Долго. Так долго, что я уже думала, он не ответит. Он вертел кружку в руках, глядя, как вино оставляет красные разводы на керамике. Потом поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза – честно, открыто, но с какой-то стеной за спиной.

– Я не знаю, что случилось до тебя, – сказал он медленно. – И даже если знаю, это не моя история. Это история Франца. И если он не хочет её рассказывать, я не имею права...

– Но я же вижу, что ты знаешь! – перебила я, чувствуя, как голос начинает дрожать. – Я вижу твои глаза, Хару. Ты всегда смотришь на него так, будто держишь в себе что-то важное. Будто знаешь, почему он превратился в эту... в эту стену. И молчишь!

Я замолчала, потому что поняла, что кричу. Что рука моя дрожит, и я сжимаю край стола так сильно, что побелели костяшки. Хару не отшатнулся. Он просто смотрел на меня спокойно, терпеливо, как смотрят на испуганное животное, которое готово убежать или укусить. И в этом взгляде была такая мягкость, что мне стало стыдно.

– Я не могу тебе рассказать, – сказал он тихо. – Не потому что не хочу. Потому что это не моя боль. Это его. И если я её вынесу наружу, я предам не его – я предам тебя. Потому что тогда ты узнаешь то, от чего ему, может быть, и самому хочется убежать. Но он не умеет. Он никогда не умел.

– Почему ты так добр ко мне? – спросила я почти шёпотом.

Он улыбнулся. Уголками губ, одними глазами. Улыбнулся так, что в комнате стало светлее.

– Потому что ты заслуживаешь добра, – сказал он. – И потому что кто-то должен напомнить тебе, что ты не обязана ждать рассвета в ночи.

Он отодвинулся от стола, и стул противно скрипнул по полу. Его лицо, за секунду до этого такое тёплое, открытое, вдруг захлопнулось, как дверь, которую резко захлопнул сквозняк. Янтарные глаза потускнели, стали настороженными, почти чужими.

– Хару, – начала я, протягивая руку к нему, но он отшатнулся.

– Нет. Не надо. – Он встал и отошёл к окну, встал спиной ко мне, глядя на тёмную улицу. Плечи у него были напряжены, руки сжаты в карманах. Он молчал так долго, что я начала считать удары своего сердца. Семь... двенадцать... двадцать три.

– Я ухожу, – сказал он тихо. – Извини. Франц скоро вернется.

Я стояла за его спиной, чувствуя исходящее от него тепло, слыша его прерывистое дыхание. И впервые за долгое время я поняла: есть вещи страшнее, чем холод Франца. Есть люди, которые сгорают заживо от собственной честности. И Хару был одним из них. Я развернулась и вышла из комнаты, оставляя его стоять у окна, глядя в ночь, которая никогда не станет для него рассветом. Уже на кухне я услышала, как хлопнула входная дверь. Хару ушел. Испарился, как пыль.

Знаете, вот проживаем мы какую-то историю, которая изменила нас настолько, что порой и себя не узнаешь. Хару больше не появлялся. Да и честно говоря, я забыть забыла о его существовании. Минутная слабость. Так однажды сказал мне Спутник. Минутная слабость. С кем не бывает. Как никак с Францем у нас все было вполне хорошо. Вполне. Странное слово, на самом-то деле. Неполное. Вроде и да, хорошо. А вроде и слегка плохо. И вот живешь в этом "между" и не понимаешь, что же тебе собственно делать. Тогда я еще не представляла себе, через что на самом деле проходит мой милый Франц. Никогда не узнаешь ведь, что происходит в голове человека, пока он сам тебе не расскажет. Мой милый-милый Франц. Прости меня, что я так в тебе ошибалась. Ты оказался тем самым типом людей, носящим все в себе, но, наверное, все это не намеренно.

Не знаю, что это было, может и не любовь, но какие-то чувства уж точно. Да и сейчас, рассуждая о Франце, я все еще наверняка люблю этого человека. Не той романтической любовью, с которой живут "сладкие парочки", съедающие друг друга на улицах города. Эта любовь глубже, возможно даже сильнее любых других чувств, потому что она живет в тебе где-то очень глубоко. Вот она – любовь к человеку как таковому.

Так вот, Хару мы не видели уже слишком давно. В какой-то момент Франц даже начал немного переживать. Я тогда удивлялась – как же этот бесчувственный человек может испытывать такой спектр эмоций. Но это все быстро закончилось. Он снова выходил гулять ночью, я снова вечером посещала джаз-бар (чаще всего лишь с Мирри), а потом ложилась спать в одинокой пустой кровати. Все так и продолжалось, да и жить особо не хотелось. Психиатр повысил мне дозу лекарств, депрессивная фаза снова настигла меня, как настигает проливной дождь, когда ты этого совсем не ждешь, потому что он не предупреждает о себе моросью. Я часто выходила гулять к воде. Все-же ее тревожная рябь, как бы это странно не звучало, успокаивала меня своими вибрациями. Я часто читала грустных японцев. Не стоило бы, конечно, эти истории меня еще больше угнетали. Хотя, с другой стороны, я ощущала бесконечное понимание от этих людей, написавших шедевры литературы. В конце концов, Япония одна из самых депрессивных стран.

Иногда я все же скучала по Спутнику. Каждому из нас в этой жизни дается такой навигатор. Тот, кто всегда указывает путь лишь по звездам. Спутник. Не просто выбор, а данность. Родственная душа не по крови, а по единению душ. Ты можешь встретить любовь всей своей жизни, вы поженитесь, создадите семью, будете счастливы, но не всегда именно он станет твоим Спутником. Спутник лишь один. И он навсегда таковым останется. Самая острая боль – это когда твой

Спутник гаснет. Когда он уходит, сворачивая с вашей общей Аппиевой дороги. Ты продолжаешь идти одна, мир утрачивает свою упорядоченность, космос кажется слишком большим и слишком холодным. Можно и правда любить другого всей душой, любить нежно, самозабвенно и страстно. Но Спутника заменить невозможно. Когда ты будешь смотреть в ночное небо, ты всегда будешь знать: тот, кого ты называла своим Спутником, был единственным в своем роде. Другого такого просто нет во всей Вселенной.

– Как там твои подруги? – спросил вдруг мой Франц.

– Неожиданно... Все в порядке. В последнее время вижусь только с Мирри. Все своими делами заняты.

– Понятно, – он сделал паузу. – Слушай, а в твой этот бар сходить можно?

– Ну вроде я никогда тебе не запрещала куда-то ходить. Адрес сейчас пришлю. Повеселись от души, потом расскажешь.

– Нет, я не это имел в виду.

– А что тогда?

– С тобой. Я хочу сходить туда с тобой.

Видели бы вы мой взгляд в этот момент. Франц решил выйти из своего логова и провести наконец время со своей "любимой" девушкой? Уж до последнего не верится.

– Чего это ты вдруг?

– Ну... Мы мало проводим времени вместе, тебе не кажется?

– Нет. Вроде люди взрослые, у всех свои заботы, – я старалась не подавать виду до последнего.

– А мне, знаешь ли, кажется, что мало. Честно говоря, я соскучился по тебе. Вроде бы мы вместе, а вроде и нет. И вот прихожу домой с утра, а даже угадать не могу, хочешь ли ты, чтобы я лег с тобой рядом.

– Я вроде не изверг, другого места для сна у нас нет. Ложись на здоровье.

– Ну я же не об этом.

– Я понимаю. Но заметь, ты сказал безумно важную деталь. Ты приходишь с утра. Когда мы с тобой последний раз смотрели фильм в обнимку, когда мы улыбались вместе? Я совсем не виню тебя, не думай даже. Опять же, взрослые люди, все дела. Но просто зачем сейчас ты все это прожевываешь? Разве тебе некомфортно жить так, как ты и живешь.

– Значит, я не могу с тобой пойти?

– Да я же никогда тебе ничего не запрещаю. Давай сходим. Хотя сомневаюсь, что та атмосфера тебе понравится. Туда приходят люди, которые умеют чувствовать.

– Ты считаешь, у меня нет чувств?

– Я считаю, что у тебя совсем нет сердца.

Франц вышел из квартиры. Видимо, вновь отправляется к каким-то потаскушкам. Дела мне больше до него нет, пусть живет, как хочет. За квартиру платит, продукты покупает, – и ладно. Все-таки он спас меня. Не могу же я его совсем ненавидеть. Да и не стала бы никогда. Ненависть разруша-

ет. А я все же придерживаюсь иного принципа. Лучше пусть ситуация тебя совсем не трогает, не плохо и не хорошо, так легче живется. Эмоциональность зачастую сжирает человека. Ну и зачем мне это все?

– Дай ему шанс, как-никак парень переживает, – как-то безучастно протянул Время.

– Ты сам-то в это веришь? Дурак.

– А чего это я сразу дурак? Я то уж лучше знаю, чем ты.

– Да ничего ты не знаешь.

– Поверь, я многое знаю. Другое дело, что говорить мне об этом нельзя. К сожалению.

– К сожалению. Надоело. Все сожалеют да сожалеют. Вы все бесчувственные. И ничего ты не сожалеешь. Сожалел бы – помог.

– Прекрати, необычная. Я правда не могу.

– Оставь ты уже меня в покое. Делай то, делай сё, будто у меня своей жизни нет.

– Я сейчас разозлюсь. Остановись. Если бы мог – сказал бы, правда.

– Если бы... говорю же, уходи. Ты бесчувственный изначально, таким и оставайся. И не делай вид, будто ты меня понимаешь.

– Никчемное человечешко. Вот и зачем я тебе помогал? Уйти? Хорошо. Прощай.

Он действительно не мог – не потому, что не хотел, а потому, что знал: любое его вмешательство в чужую жизнь обер-

нётся для меня же худшим из возможных вариантов. Но разве это объяснишь в пылу ссоры, когда в голосе звенит такая искренняя ненависть, на которую способны только смертные? Вздохнув, он растворился в воздухе, оставив после себя лишь едва уловимый запах горелой свечи и шелест страниц, которые никто не перелистывал. А я осталась одна – в пустой комнате, где стрелки на стене продолжали свой бесконечный, равнодушный бег.

– Ну, докладывай, – протянула Судьба, даже не взглянув на него. Она сидела в своём кресле, перебирая пальцами одну из бесчисленных нитей, и та тихо звенела под её прикосновением, словно живая струна. – Как там моя маленькая игрушка? Всё ещё дышит? Всё ещё надеется на что-то?

Время стоял перед ней, пряча руки в карманы потёртого плаща, и старался не смотреть ей в глаза – в те бездонные колодцы, где вместо зрачков кружились галактики, рождались и умирали звёзды. Он знал: если встретится с ней взглядом, она вытянет из него всё, каждую мысль, каждую тайную попытку помочь той девушке, за которой он наблюдал уже столько времени.

– Она жива, – ответил он как можно спокойнее. – Работает. Пьёт кофе по утрам. Иногда улыбается, когда думает, что никто не видит.

Судьба резко сжала нить, и та издала жалобный, почти человеческий стон. Время вздрогнул, но сдержался.

– Улыбается? – переспросила она с ледяной усмешкой. – Ты сказал улыбается? Мы, кажется, договаривались, Время. Её жизнь – это череда страданий, а не повод для дурацких улыбок. Каждое утро она должна просыпаться с камнем в груди. Каждый вечер засыпать со слезами на подушке. Где

слёзы? Я не вижу слёз. Ты что, опять вмешался?

Она поднялась с кресла, и нити вокруг неё заколыхались, как змеи, потревоженные в гнезде. Время сделал шаг назад, поднял ладони в примирительном жесте, хотя внутри всё кипело от бессильной злобы.

– Ничего я не вмешивался, – сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрже, чем он себя чувствовал. – Просто вчера она нашла на скамейке в парке забытую книгу. Ту самую, которую любила в детстве, с картинками и пожелтевшими страницами. Это не я подложил, честно тебе говорю. Кто-то просто забыл её, обычная случайность.

Судьба рассмеялась, но смех её был похож на звон битого стекла – красивый, но режущий слух, оставляющий после себя ощущение тревоги и пустоты.

– Случайность, говоришь? Ты думаешь, я не вижу разницы между естественным ходом событий и твоими жалкими попытками подсластить ей жизнь? Я – Судьба, Время. Я плету узоры из человеческих жизней, я вижу каждую нить, каждое переплетение, каждое крошечное отклонение. А ты всего лишь вода, которая течёт по моим руслам. Ты не имеешь права менять направление. Даже на миллиметр. Даже на одну секунду. Даже если тебе кажется, что никто не заметит.

Время тяжело выдохнул, провёл ладонью по безликому бледному лицу. Он чувствовал, как внутри нарастает глухое, вязкое отчаяние, которое он привык подавлять веками.

– Она так плакала в ту ночь, – сказал он тихо, почти шё-

потом. – Ты вообще видела, что с ней было? Она звала Спутника во сне, задыхалась от рыданий, кусала подушку, чтобы соседи не слышали. Она потеряла его, она страдает, она каждый день пережёвывает ту боль, которую ты ей подарила. Разве этого мало?

Судьба медленно обошла вокруг него, и он чувствовал на коже её дыхание холодное, как сквозняк из открытого окна в зимнюю ночь. Она остановилась за его спиной, и он не смел обернуться.

– Ах, Спутник, – протянула она с притворным сочувствием, которое резало слух своей фальшивой нежностью. – Любимый Спутник. Даже Франц не смог заменить ей его.

– Да, – выдавил Время, сжимая кулаки до боли в пальцах. – Она почти забыла его. Она начала дышать без него. Она почти почувствовала себя живой, почти поверила, что может быть счастлива. Почти.

Судьба рассмеялась громче, откинув голову назад, и в её смехе слышалось искреннее, неприкрытое наслаждение. Она подошла к нему вплотную, коснулась пальцами его подбородка – длинные ногти блеснули в мерцающем свете, будто лезвия.

– Почти, – повторила она, смакуя это слово. – Какое чудесное слово, правда? Оно такое... незавершённое. Такое мучительное. В нём столько надежды, и столько же разочарования. Поэтому я и здесь, милый. Я не даю ей забыть. Я делаю так, чтобы она почти забыла, а потом – чтобы вспомнила.

Вспомнила так, что кровь закипит в жилах, сердце выпрыгнет из груди, а ноги сами понесут её туда, где он. И чтобы она снова влюбилась в него. Безрассудно, до безумия, до полной потери себя. Только тогда моя затея будет иметь смысл.

Время сглотнул ком в горле, голос его сорвался на хрип.

– Зачем тебе это? Ты же не хочешь им счастья. Ты же ненавидишь её, хотя она тебе ничего не сделала.

Судьба наклонилась к самому его уху – так близко, что он чувствовал, как вибрирует воздух от её голоса.

– Я хочу убить его, – сказала она шёпотом, но в этом шёпоте было больше угрозы, чем в любом крике. – Убить красиво, долго, изощрённо, смакуя каждое мгновение. Я уже вижу эту картину: она бежит к нему по мокрой мостовой, ветер бьёт ей в лицо, на губах – его имя, в глазах – слёзы счастья. Она падает в его объятия, целует его, мокрого от дождя, и говорит, как сильно любила его все это время. А в этот самый момент я затягиваю петлю чуть крепче. Каждое её "люблю" становится для него последним вздохом. Каждый удар её сердца – моим лезвием, входящим между его рёбер. И я буду смотреть в его глаза, пока в них гаснет свет. Это будет моим спектаклем, моим балетом. Ты даже не представляешь, какая это музыка, Время. Крик отца, который видит, как умирает его сын. Крик матери, которая теряет своё дитя на глазах. Крик моей девочки, которая внезапно понимает, что её любовь стала ядом, что это из-за неё, что она – причина его гибели. Это – идеальная кульминация. Я к ней го-

товилась долго.

Время не выдержал – он схватил её за запястье, сжал так сильно, что кости хрустнули. Он делал это впервые за всю свою бесконечную жизнь, и внутри у него всё дрожало от гнева и отчаяния.

– Остановись, – сказал он, и голос его прервался. – Прошу тебя, Судьба. Она не выдержит этого. Она сойдёт с ума от горя. Она покончит с собой. Ты же это знаешь, ты видишь все возможные варианты. Зачем тебе такая жестокость?

Она не отдернула руки – наоборот, посмотрела на его длинные пальцы, стиснувшие её кожу, с лёгким любопытством, будто рассматривала забавное насекомое. Потом медленно, очень медленно, перевела взгляд на его лицо, и в её глазах-галактиках разгорелся холодный огонь.

– Конечно, покончит, – ответила она ровно, почти ласково. – Я на это и рассчитываю. Но не сразу, разумеется. Сначала она будет жить с этой раной. Долго, очень долго – годы, десятилетия, целая бесконечность человеческой боли. Она будет просыпаться по ночам с криком, звать его, винить себя в том, что не уберегла. Она перестанет есть, перестанет улыбаться, перестанет верить в добро. Она станет бледной тенью самой себя, ходячим призраком. Она расстанется с Францем, больше никогда не увидит Хару, перестанет общаться с Мирри, Виолеттой, Кики и даже Освином. И только когда она достигнет самого дна, когда в ней не останется ничего человеческого – ни надежды, ни любви, ни желания жить, – толь-

ко тогда я позволю ей умереть. И она умрёт в одиночестве, в грязной съёмной комнате, без единого человека рядом, и даже никто не заметит её ухода сразу. Вот это – настоящая судьба, Время. Идеально сплетённый узор. Ты должен гордиться тем, что стал его свидетелем.

Время выпустил её руку, будто обжёгся, и отшатнулся. Он смотрел на неё с ужасом, которого не пытался скрыть.

– Ты безумна, – выдохнул он. – Ты – не Судьба. Ты – палач, мучитель, воплощение зла. Как можно находить удовольствие в чужой боли?

Судьба рассмеялась, и её смех разнёсся по комнате, заставляя нити вибрировать в унисон. Она взяла одну из них – тонкую, серебряную, почти прозрачную – и вплела в свои волосы, любуясь тем, как она переливается в тусклом свете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.